

E. M. Мягкова

Диалектика «события» и «процесса»: эпистемологические споры о французской революции в историографии XX в.

XX столетие — время глубоких качественных перемен в зарубежной и отечественной науке. В накале дискуссионных страстей были не только отринуты традиционные схемы (марксизм, позитивизм), но и поставлены под вопрос «оппозиционные» им концепты школы «Анналов» и новой социальной истории. Резкие критические повороты заставили задуматься о специфике методов познания реальности прошлого, их возможностях, характере, границах. В центре «универсального сомнения» оказались одновременно аналитические приемы изучения документов и логико-смысловые формы письма (нарратив), в которых автор систематизирует и доносит до читателя результаты своего научного творчества. Вместе с тем при всей широте диапазона тем и сюжетов, поднимаемых в ходе современных споров, очевидно, что они красноречиво выстраиваются вокруг вечных вопросов (соотношение эмпирического бытия, практики с психологическим началом, сознанием; универсального, устойчивого, общего с преходящим, неповторимым, уникальным; детерминизма со свободой выбора и действия).

Осмысление краеугольных категорий в бинарных оппозициях имеет неисчислимое множество вариантов. В контексте настоящей работы наибольшую ценность представляет тянувшееся из античности противопоставление *кайроса* *хроносу*. Первое понятие обычно обозначает время как конкретный решающий момент, возможность, однократно предоставленную человеку Богом (случайность); второе — определяет его в качестве всеохватного движения, безостановочного и безжалостного к людям (закономерность)¹. В разных философских, теологических, естественно-научных системах (Плотин, Фома Аквинский, И. Ньютон, Й. Шеллинг) отдельные признаки диады доводились до совершенства. Так, на одном полюсе оказывались непрерывность, абстрактность, математическая рациональ-

ность, на другом — чувственная осозаемость и реализуемость в человеческой активности.

В начале XX в. концепты, восходящие к кайросу и хроносу, стали доминирующими в европейской культуре. Открытие «четвертого измерения» (теория относительности А. Эйнштейна), сблизившее время с пространством, было с энтузиазмом подхвачено за пределами точных наук (М. Пруст, А. Бергсон, Э. Гуссерль), однако под влиянием конкретных исторических событий проблема чаще всего проецировалась на другие фундаментальные антиномии, в которых общество пыталось постичь себя как единое целое. Действительно, за описанным О. Шпенглером противоборством универсальной, статичной, упорядоченной цивилизации с органической, творческой, непрерывно движущейся культурой угadывалась важнейшая идеологическая дилемма современников. Речь идет о принципиальном выборе между революционным порывом на фоне цивилизационной неподвижности и цивилизационной стабильности в противовес революционному хаосу².

Оказавшись в эпицентре исследовательской мысли, диалектика «события» и «процесса» невольно переносилась и на великие уроки прошлого, нередко служившие достойным подражания наглядным примером³. Представление о соотношении указанной диады во Франции 1789–1799 гг. стало складываться в рамках постулата о буржуазной революции. Он обязан своим происхождением исторической школе периода Реставрации (О. Тьери, Ф. Гизо, А. Тьер, Ф. Минье)⁴, вокруг него сложилось «классическое», по определению А. Собуля, направление. Революции отводилась здесь «сугубо функциональная роль перехода, некого двигателя (“локомотива”), перемещавшего Францию по линейному маршруту прогресса из пункта Феодализм (Старый порядок) в пункт Капитализм (Современное общество)»⁵. Так, популяризированное А. Бергсоном понимание времени как длительности (*durée*) не было преодолено, и значение самых выдающихся, с марксистской точки зрения, событий (как правило, народных движений) определялось методологическим верховенством процесса (борьбой классов), иерархическим подчинением кайроса хроносу («финализм», «телеология»)⁶.

В рамках этой господствовавшей до середины XX в. парадигмы и одновременно вопреки ей зарождались альтернативные подходы, активно перестраивавшие «стандартную» шкалу ценностей в пользу того или иного компонента. Крупнейший ученый Ф. Бродель довел наметившуюся диспропорцию до логического завершения, сформулировав идею циклов «большой протяженности» (*la longue durée*)⁷. Его цель — выявление устойчивых структур истории в виде «самого конкретного, самого повседневного, самого неуничтожимого» в человеческой жизни. События, таким образом, выглядели краткосрочной аномалией, нарушающей «ход вещей», а сама революция — чем-то слишком причудливым, слишком специфическим, слишком неупорядоченным, чтобы стать предметом, достойным изучения⁸. Напротив, «третье поколение» школы «Анналов» провозгласило «возврат к событию», и прежняя иерархия оказалась перевернутой с ног на голову⁹.

Наибольшие подвижки в раскрытии эвристического потенциала кайроса произошли в ожесточенных (часто идеологических) спорах марксистов и «ревизионистов». Прежде всего, обе традиции констатировали уникальность грозного десятилетия: с одной стороны, речь шла о крестьянском «дополнении» концепции революции¹⁰, с другой — о деформации ее буржуазных целей и общем «заносе»¹¹. В первом случае коннотация события оставалась двойственной («вымести мусор, нагромождавшийся веками» — насадить новый капиталистический строй), но в целом благоприятной (орудие исторического прогресса, приближавшее торжество социализма)¹². Во втором случае акцент явно смешался к отрицательности, отражавшей общее мироощущение эпохи, где главной ценностью объявлялось сохранение при медленном экономическом росте и постепенном улучшении «качества жизни» устоев национального бытия, исключающее социальные и политические потрясения, международные конфликты. Иными словами, реабилитация кайроса обернулась здесь убежденностью в его сугубо негативном, «катастрофическом» характере¹³.

Так, по-разному оценивая значение революции, ревизионисты и марксисты одинаково признавали ее разрывом, нарушением

постепенности, но вместе с тем не позаботились об определении эпистемологического статуса этого слома, и он «остался неким “безвременем” в историческом времени, которое для тех и других измерялось категорией процесса» (моделью нормативной «буржуазности»)¹⁴. Препятствие, впрочем, создается органической спецификой научного знания: из обилия фактов конструируется преемственная прямая, с наибольшей достоверностью соединяющая начало и конец произошедшего. Кайрос теряет момент взрыва, трансформируется в закономерное, плоскостное развитие, и событие оказывается лишь остановкой на этом маршруте, промежуточной станцией по пути следования¹⁵. Но если в классической и новейших эволюционных теориях линейная протяженность ассоциируется с самой историей¹⁶, то самоценность революции как предмета изучения предполагает воссоздание трехмерного пространства и возможность концептуализации иного времени, где, в противовес фатальной «предсказуемости», новое есть осуществление «неожиданного»¹⁷.

«Стрела» и «колесо» времени культурно равнозначны¹⁸. Однако для реконструкции событийности приобретает особое значение его свойство сжиматься, растигаться, быть неравномерным (соединение мига и вечности). Модель пульса, по мнению А. В. Гордона, предполагает субъективное наполнение определения через учет сознания, насыщенность человеческой активностью¹⁹. Так, оспаривая известный постулат «люди творят свою историю», Ф. Бродель утверждал, что история «делает людей и определяет их судьбу». Исторический процесс представлял в виде сочетания устойчивых социальных структур с длительными циклами медленных и постепенных экономических изменений, не зависящего от воли и желания индивидов²⁰. Напротив, революция, в глазах П. А. Кропоткина, — субстанция, «целый мир, полный жизни и действия», целостность, подлежащая объяснению из самой себя. Она абсолютна (не вытекает из предыдущего и не впадает в последующее), тавтологична, самодостаточна, тотальна, ее содержание выступает контрастом повседневности как очевидный разрыв, слом²¹.

Событие в современной философии имеет целый ряд атрибутов. Оно есть чистое, не сводимое к набору фиксируемых элементов; необратимое; происходящее, но не сущее; замкнутое и имеющее себя своим предметом²². История, в свою очередь, все еще пестрит формулами «объективно-неизбежного перехода»²³ и образами «заговора», подстрекательской деятельности агентов или «обществ влияния»²⁴. Непримиримые в своей полярности концепции наводят, однако, на размышления о том, что революция как часть долгого процесса, совокупность предпосылок, которые вызвали ее наступление, не тождественна революции — явлению, предполагавшему своим внутренним развитием собственную политическую и социальную структуру, и никоим образом не сводится к условиям, сделавшим ее возможной²⁵. Поиск причин и предпосылок необходим, но нужно иметь в виду, что детерминизм проявляет себя субъективной, ситуационной логикой: задачи эпохи следует раскрывать так, как они воспринимались французами в конце XVIII в., кризис феодально-абсолютистского строя не имел бы решающего значения без формирования особого типа сознания.

Французская революция опровергает классический постулат классового подхода «кому выгодно?» (В. И. Ленин). В свете современных работ очевидно, что ее двигателем была отнюдь не жадная до власти буржуазия, а те силы «сверху» (аристократия) и «снизу» (крестьянство), которым угрожал монстр капиталистического прогресса²⁶. Очевидно, между объективными интересами различных слоев и требованиями соответствующих группировок находилась категория настроений, предопределяющая (часто парадоксальным образом) направление политической активности²⁷. Сцепление стихийности и сознательности, спонтанности и индоктринации, страха и надежд в механизме создания общественного мнения породило огромную энергию, приведшую в движение все части французского общества. В основе колossalного по масштабам взрыва (своебразной точки бифуркации) лежало, следовательно, столкновение множества альтернативных программ. Ход революции здесь (в отличие от государственного переворота или реформ) не может быть запрограммирован: она не подчиняется планам лидеров

и склонна «пожирать своих детей». Одна роковая случайность, странное неожиданное происшествие или имя без определенного значения — и событие раскручивает свой маховик, наслаждаясь само на себя (*force de choses*)²⁸. Неоднократные попытки остановить развитие процесса, введя его в рамки конституционного порядка, встречали противодействие, оборачивавшееся новым ожесточением борьбы²⁹. Показательно в этой связи, что революцию не столько делали (*homo faber*), сколько разыгryвали (*homo ludens*), подобно архаическому празднеству³⁰. Новые ритуалы (торжественные шествия, гражданские церемонии), традиционные песни и танцы не просто развлекали/украшали или пропагандировали/мобилизовали, а составляли важнейший аспект человеческой драмы, проекцию особого состояния, в котором пребывал исторический субъект³¹.

При пересмотре теории событийности необходимо преодолеть и односторонность аксиологического свойства — леворадикальной апологетики («праздников угнетенных») и уничижительных интерпретаций («опьянение», умопомешательство). Гораздо более важной задачей остается сложная диалектика явления, где разрушение старого превращается в созидание нового. Неудивительно, что внимание современных исследователей все более привлекает возможность проследить процесс конституирования общественного порядка через его негативное определение: беспорядок, насилие, жестокость. Моменты дестабилизации при таком подходе перестают быть просто реакцией по отношению к структурирующей эволюции, совершающейся до и после них. Напротив, они оказываются реальными факторами самодтверждения политического пространства западного мира (социальная история политизации)³². Событийность записана в процесс как особая часть единого во всех разновидностях исторического целого, и соединительным звеном между ними выступает цивилизация³³. По мнению А. В. Гордона, французская революция и цивилизация Нового времени — явления однопорядковые. «Можно трактовать революцию как особое состояние цивилизующегося (в смысле приобщения к данной цивилизации) субъекта с акцентом на формирование, распространение и преобразование в революционную эпоху новой

цивилизации. Можно рассматривать эту цивилизацию как пролонгированную революцию, выявляя в событийной канве революции XVIII в. матрицу цивилизационного процесса XIX—XX вв.³⁴.

¹ Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977.

² Постоутенко К. Часы и паровоз: эссеистические наблюдения над временем революционной культуры // Новое лит. обозрение. 2003. № 64. С. 46—53; Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. Т. 1.

³ Гордон А. В. Великая французская революция как явление русской культуры // Исторические этюды о французской революции: Памяти В. М. Далина. М., 1998. С. 219—245; Он же. Великая французская революция, преломленная советской эпохой // Одиссей: Человек в истории. М., 2001. С. 311—336; Фюре Ф. Постижение французской революции. СПб., 1998. С. 91—97.

⁴ Реизов Б. Г. Французская романтическая историография (1815—1830). Л., 1956.

⁵ Гордон А. В. Великая французская революция как великое историческое событие // Диалог со временем. М., 2004. Вып. 11. С. 122; Фюре Ф. Указ. соч. С. 22—23, 125—130.

⁶ Отметим, впрочем, что иерархия диады была противоположной в ранней советской историографии и приняла «каноническую» форму лишь с 30-х гг. XX в. См.: Гордон А. В. Великая французская революция в ретроспективе 1917 года // Одиссей: Человек в истории. М., 2004.

⁷ Braudel F. La longue durée // Annales ESC. 1958. An. 13, № 4. P. 725—753.

⁸ См.: Hexter J. H. Fernand Braudel and the «Monde Braudellien»... // Journal of Modern History. 1972. Vol. 44. P. 480—539; Kellner H. Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire // History and Theory. 1979. Vol. 18, № 2. P. 197—222; Vovelle M. L'histoire et la *longue durée* // La Nouvelle histoire. P., 1998. P. 77—108.

⁹ Lacouture J. L'histoire immédiate // La Nouvelle histoire. P. 229—254.

¹⁰ См.: Autour des travaux d'Anatoli Ado: sur les soulèvements paysans pendant la Révolution française. Table ronde (M. Vovelle, J. Boutier, C. Mazauric, G. Lemarchand) // La Révolution française et le monde rural. Actes du Colloque tenu en Sorbonne les 23—25 octobre 1987. P., 1989. P. 521—539; Soboul A. Problèmes paysans de la Révolution (1789—1848). P., 1976.

¹¹ См.: Блуменай С. Ф. «Ревизионистское» направление в современной французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII в. Брянск, 1992; Он же. Споры о революции во французской исторической науке второй половины 60-х—70-х годов. Брянск, 1994.

¹² Французская буржуазная революция 1789—1794. М.; Л., 1941. С. VI—VII.

¹³ Подобные настроения особенно характерны для «неоконсервативного» крыла французской историографии (П. Шоню), рассматривающего француз-

скую революцию исключительно сквозь призму насилия, жестокости, террора. См.: Блуменау С. Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца XVIII в. (1945—1993 гг.). Брянск, 1995. С. 228—237.

¹⁴ Гордон А. В. Великая французская революция как великое историческое событие. С. 117.

¹⁵ См.: Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. В такой ситуации историк, по мнению Р. Шартье, делает несколько произвольных допущений: «...он исходит из того, что всякий момент истории является однородной целостностью и обладает идеальным и единственным значением, присутствующим в каждом факте, из которых он складывается и которые его выражают; что в основе истории непременно лежит преемственность; что факты взаимосвязаны и порождают друг друга, образуя непрерывный ряд, благодаря чему становится возможным утверждать, что один факт является “причиной” другого». См.: Шартье Р. Культурные истоки французской революции. М., 2001. С. 13.

¹⁶ См.: Семенов Ю. И. Философия истории. От истоков до наших дней: основные проблемы и концепции. М., 1999. С. 56—150, 239—284.

¹⁷ С точки зрения М. Фуко, «генеалогический» (или «археологический») анализ, призванный дать верное представление о предмете с учетом переломов и сдвигов, должен непременно отказаться от классических понятий «целостность», «преемственность», «причинность». Его задача — пересмотреть «связь», которую обычно устанавливают между внезапностью события и его неизбежностью. Существует традиция (как в богословской, так и в научной историографии), которая стремится растворить единичное событие в идеальной преемственности — телеологическом движении или естественном сцеплении обстоятельств. «Действительная» же история стремится представить событие во всей его исключительности и неожиданности». Цит. по: Шартье Р. Указ. соч. С. 13.

¹⁸ Гречко П. К. Концептуальные модели истории. М., 1995; Полетаев А. В., Савельева И. М. История и время. М., 1997.

¹⁹ Гордон А. В. Великая французская революция как великое историческое событие. С. 120.

²⁰ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм. XV—XVIII вв. М., 1986—1992. Т. 1—3.

²¹ Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1789—1793 гг. М., 1979. С. 5. Сходная позиция характерна и для современной французской историографии. Так, во многом вслед за О. Кошеном некоторые ученые отрицают необходимость обращения к Старому порядку, полагая, что смысл революции, ее пружины следует искать только в ней самой, не выходя за хронологические рамки одного десятилетия (1789—1799). См.: Фюре Ф. Указ. соч. С. 36—37; Baesque A. de. L'histoire de la Révolution française dans son moment hermeneutique // Recherches sur la Révolution: Un bilan des travaux scientifiques du Bicentenaire. Р., 1991. Р. 21.

²² Магун А. Опыт и понятие революции // Новое лит. обозрение. 2003. № 64. С. 64—66.

²³ Философское и историческое осмысление феномена революций в России только начинается. Помимо уже указанных обобщающих работ А. В. Гордона,

отметим следующие: Гавлин М. Л., Казакова Л. А. Современные буржуазные теории социальной революции. М., 1980; Смирнов И. П. Социософия революции. СПб., 2004; Фурсов А. И. Революция как имманентная форма развития европейского исторического субъекта // Французский ежегодник. 1987. М., 1989. С. 278 – 330.

²⁴ По сути дела, утверждение о том, что «революционный дух» полностью сформировался в обществе Старого порядка и нашел свое логическое завершение в трудах философов эпохи Просвещения («общества влияния»), возрождает старую теорию заговора, тезис о запланированности революции. См.: Фюре Ф. Указ. соч. С. 62 – 63; Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет // Новая и новейшая история. 2000. № 1. С. 69 – 81.

²⁵ См.: Шартье Р. Указ. соч. С. 208 – 213; Фюре Ф. Указ. соч. С. 30 – 33.

²⁶ В целом о проблеме см.: Фюре Ф. Указ. соч. С. 108 – 125; Чудинов А. В. Депутаты-предприниматели в Учредительном собрании (1789 – 1791) // Французский ежегодник. 2001. М., 2001. С. 153 – 164; «Круглый стол»: Французская революция XVIII в. и буржуазия // Новая и новейшая история. 2002. № 1. С. 80 – 112.

²⁷ «Весьма ошибочной, хотя и широко распространенной является идея о том, что революции рождаются непременно из желания некоторых классов или социальных групп ускорить слишком медленные, на их взгляд, перемены. Революция может выражать также и волю к сопротивлению кажущимся слишком быстрыми изменениям со стороны какой-либо части общества, непосредственно участвующей в низвержении традиционного порядка... Революционная борьба изменчива по самой своей природе и подчинена быстро меняющейся политической конъюнктуре, которая весьма неоднородна и состоит из элементов, преследующих различные и даже противоположные цели». — Фюре Ф. Указ. соч. С. 131. Неудивительно в этой связи, что поведение крестьянства четко не укладывалось в определенную схему (революции / контрреволюции), отличалось амбивалентностью: движущая сила, непосредственный «пресс» французской революции, но одновременно — массовая опора короля и дворян-эмигрантов.

²⁸ Лидеры революции, справедливо отмечает Р. Шартье, «делали вовсе не то, что говорили, и совсем не то, что намеревались делать. Провозглашая полный разрыв со Старым порядком, они в действительности укрепляют и завершают начатую им централизацию. Учреждая мирные, лояльные ученыe общества, просвещенная элита уверена, что ее деятельность способствует общему благу, а на поверку оказывается, что она изобретает механизмы террора, которым обернется якобинская демократия». — Шартье Р. Указ. соч. С. 212 – 213.

²⁹ Одно из важнейших направлений в осмыслении этого сюжета — анализ якобинского террора как самодостаточного и самопорождающегося механизма. См.: Генифе П. Политика революционного террора, 1789 – 1794. М., 2003; Фюре Ф. Указ. соч. С. 56, 172 – 213.

³⁰ Черты сходства революции с архаическим празднеством были отмечены многими историками: Озүф М. Революционный праздник, 1789 – 1799. М., 2003; Bercy Y.-M. Fkte et Rëvolte. Des mentalités populaires du XVI au XVIII-e siècle. Essai. P., 1976; Lucas C. The Crowd and Politics // The Political Culture of the French Revolution. Vol. 2: The Creation of Modern Political Culture. Oxford, 1988. P. 259 – 285.

³¹ Не случайно советские историки резко выступили против «обмирщения» революции Р. Коббом (*Cobb R. La protestation populaire en France, 1789–1820.* P., 1989). Описанные им структуры повседневности имели лишь опосредованное отношение к политическому действу и не выражали его специфики. См.: Далин В. М. Историки Франции XIX–XX веков. М., 1981. С. 129–150.

³² См.: Будон Р. Место беспорядка: Критика теорий социального изменения. М., 1998; Schaub J.-F. Révolutions sans révolutionnaires? Acteurs ordinaires et crises politiques sous l'Ancien Régime (note critique) // Annales HSS. 2000. № 3. Р. 645–653.

³³ См.: Эйзенштадт III. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. «Мир Просвещения и французская революция», — пишет А. Дюпрон, — являются двумя проявлениями (или эпифеноменами) более широкого процесса — процесса становления независимого, то есть не чьящего ни мифов, ни религий (в традиционном смысле слова), общества людей, общества “современного”, то есть не оглядывающегося ни на прошлое, ни на традиции, общества, живущего настоящим и гостеприимно открытого будущему. Истинные причинно-следственные связи между Просвещением и Революцией — в том, что и Просвещение, и Революция входят в более широкий, более полный исторический феномен, нежели их собственный». Цит. по: Шартье Р. Указ. соч. С. 213.

³⁴ Гордон А. В. Великая французская революция как великое историческое событие. С. 130.

А. Ю. Лоевская

Феномен религиозного сознания в свете интеллектуальной истории

Интерес к сознанию человека, к структурам мышления за последние двадцать лет в отечественной исторической науке существенно возрос. Неудивительно поэтому, что понятие «интеллектуальная история», заимствованное из западной историографии, прижилось на российской почве. Однако в связи с тем, что это направление исторического знания переживает период становления, основной проблемой для него остается проблема дефиниции. Определение понятия «интеллектуальная история», ее метода и предмета вызывают жаркие дискуссии.

Появление этого направления связывают с именами американских историков Перри Миллера и А. Лавджоя¹. Первый разрабатывал понятие «интеллектуальная история», второй —